

Николай Петрович Вагнер

Без света



*Часть сборника
Сказки Кота-Мурлыки (сборник)*



Николай Петрович Вагнер

Без света

Серия «Сказки Кота-Мурлыки»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=626045

Сказки Кота-Мурлыки: Правда; М.; 1991

Аннотация

«Вы, вероятно, встречали их – этих бедных, маленьких бездомников, шляющихся из дома в дом, в дождь и холод по улицам нашей цивилизованной столицы. Вас, вероятно, поражало страдальческое, кроткое личико слепой девочки, которую водил маленький брат ее, а впереди них всегда бежала кудлатая хромая собачка...»

Содержание

I	4
II	6
III	8
IV	10
V	12
VI	15
VII	18
VIII	22
IX	27

Николай Петрович Вагнер

Без света

I

Вы, вероятно, встречали их – этих бедных, маленьких бездомников, шляющихся из дома в дом, в дождь и холод по улицам нашей цивилизованной столицы. Вас, вероятно, поражало страдальческое, кроткое личико слепой девочки, которую водил маленький брат ее, а впереди них всегда бежала кудлатая хромая собачка. Когда маленький братишка запевал под вашими окнами:

– Подайте л-л-ю-ди Бо-о-жии, по-о-дайте Хлиста лади, убогоньким на хлебец! – то в то же самое время собачка садилась на землю и начинала жалобно выть и визжать.

– Какая наглая эксплуатация! – говорили вы, отходя от окна, которое холодный ветер, словно дробью, обсыпал дождем.

И вам представлялась правильно организованная система обирания ваших карманов. Вы винули полицию за то, что она пускает по городу этих «детей разврата и лени». Вы вспоминали те отвратительные, грязные вертепы, в которых живут эти бедные дети. Ваша осенняя хандра еще более увеличивалась от раздражения. Вас сердил этот надоедливый то-

ненький детский голосок, доносившийся со двора, и звяканье медных копеечек, которые кидали бедным детям сытые, праздные и сострадальные люди.

II

Это было давно.

В глухом лесном углу, в небольшой деревеньке, в новой крепкой избе родились маленькие бездомники. Девочку звали Машуткой, мальчика – Васеной. Когда девочке минуло три года, а Васена еще сосал грудь матери, мать их, Акулина Любариха, проводила своего мужа в солдаты, голосила и причитала над ним. Наплакала глаза, которые и без того были больные, и осталась в своем родимом опустелом гнездышке век вековать бобылем одиноким, «царской вдовой», солдатской сиротой.

Жили они с мужем всегда в миру и ладу; оба тихие да молчаливые, ясные.

И детки уродились такие же. Васена еще по временам расшалится, развозится, но его дикая веселость тотчас же разобьется о тихую, кроткую улыбку сестренки. Да при том на обоих тяготела та грусть безысходная, которая, как тихая струйка, сочилась в целом доме из постоянно тоскующего сердца матери.

В долгие зимние вечера мать прядет мочку кудели. Горит и дымится, потрескивая, светец-лучина. Тихо шурчит и жужжит веретено; тихо мурлычет седой Васюк на печи, тихо спит Кудлашка, свернувшись клубком на полу, и только по временам встрепенется, когда долетит до нее далекий лай

деревенских собак, приподнимет голову, насторожит уши, поворчит, повизжит и снова уляжется.

– Мамонька, голубынька, – говорит Машутка. – Расскажи нам, как ты в голодный год нуду принимала.

– Э! детоньки, что горе вспоминать? Благо было, да прошло!

– Нет, мамонька, расскажи. Сделай милость! Вспомним горе, и жизнь слаще покажется...

Любариха посмотрела на них с грустной улыбкой, поправила девочке белые волосики, что выбились из-под платка, и начала плавно, неторопливо.

III

У нас здесь хлеб плохо рождается. Земля плохая – все больше камень да щебень, либо песок. Тот год Васене пошел третий годок – осень припоздала, теплая была да бесснежная. Все озими-то червячок подъял, а что весной из корня пошло, то летом жары спалили. Така была засуха, что старики сродясь не запомнят. Цело лето леса горели и мгла стояла.

Осень настала сырая, студеная, да мокрая; от стужи да мокрети, известное дело, пуще тоска на сердце ложится.

В сентябре снежок запорошил. Вышла я на крылечко, а снег так и сеет, ровно сквозь сито, а сердце-то у меня так и стынет.

– Господи! – думаю я, – чем-то я вас, деточек малых, прокормлю зимушку лютую, в бескормицу?

Одначе, правду сказать, что у меня припасено на всякий случай три мешка крупки. В амбарушке, над погребцом, на вышке лежали. Авось, думаю, не отощаем.

Тот же вечер дождь полил и весь снежок смыл. Грязь невылазная. Сиверко гудет, дождь так и льет, ни зги не видно. Только вдруг слышу, кто-то в оконце: тук, тук, тук!

– Господи, – думаю, – кому бы это? Перепугалась шибко.

– Кто, мол, тут? – Не отвечают.

Засветила фонарь, накинулась шубенкой, выходку. А под окном мужичонка-дедушка сидит, древний, надревний, со-

всем седой да весь мокрый.

– Откуда, – говорю, – странствуешь, божий человек?

А он бормочет, бормочет, жует, чавкает, машет руками, а ничего не разберешь.

Подумала я тогда: пустить его, аль не пустить в избу? Старче древний, еле дышит. Как бы, мол, беды не нажить. Пустишь его, а он в ночь-то помрет!

А он оперся на подожок-то, да как заплачет, таково жалобно, ровно ребеночек махонький, а слезы так и капают на бородку седенькую.

Ввела я его в избу, положила на печь, напоила мяткой да шипишным цветиком. Наутро старче совсем окреп.

Пожил старче денек-другой. Подумала я, поглядела. Вижу – тихонький да простенький, больше спит, да богу молится.

– Пушай, – думаю, – живет в избе, куда, мол, его погоню, старца древнего? Словно он ребеночек махонький. А тут стужа такая лютая настала. Куда, мол, его на мороз погоню? Авось не объест. Как-нибудь зиму проживем. И мне будет спокойнее вдвоем в избе жить. Все как будто я не одна.

– Голод у нас, – говорю ему. – Не знаю, чего есть будем.

А он вытащил котомочку, развязал. Полна котомочка лепешками.

– Вот, – говорит, – лепешечки. Господь не оставит. Будем сыты. Проживем.

И поселился он у меня до весны, зиму коротать.

IV

А зима все лютей да лютей становится. Каждый день такие морозы стоят, просто – страсть. Измаялись мы совсем. Стужа да голод – вконец изморили.

Стала и у меня крупка подбираться. Остался один мешочек.

– Ну! – говорю старику, – мучки мы деткам оставим, а сами будем голодно месиво есть.

Вот натолкнем мы сушеных грибков, да с мякиной намешаем, да чуточку, самую малость, с наперстка два, подсыпим мучки, замесим и лепешечек напечем.

Ну, и ничего, питались мы этими лепешечками вплоть до масляной.

А признаться сказать, мы и масляну, кака-така, забыли. Кака уж масляна, когда ни у кого и мучки, почитай, нет!

Каждый день народ собирался за гумном, знаешь, там тако место есть, кругом прозывается.

Помирать-то одному в избе неохотно, ну, и ползут все на круг. Испитые такие да желтые, страсть смотреть!

Кажинный день кого-нибудь везут хоронить.

Каждый день десяцкий обходил избы: не вымерли ли где?

А то с семьей Антипа Касмарева беда приключилась. Три бабы, да два парня, да мальчонок – все перемерли. А нам это и невдомек: почему, мол, никто из них на круг не прихо-

дит? – Да через неделю кто-то в избу к ним заглянул; а они все мертвые! – Ребеночек – вон с Васену – так тот на порожке, голубчик, свернулся, ручки к животику поджал, да так и застыл – ровно спит...

Дух от них из избы-то несет такой самый противный. Знамо дело – мертвечина, все равно, что падаль.

Ну, после этого мы уж и доглядывали друг за дружкой. Как если что... так сейчас и убираем.

V

Святая была поздняя. К Святой мы все прибрались. Чистые рубахи понадевали, друг с дружкой попрощались. Как есть к отходу изготовились.

На последних днях Святой говорю я старичку:

– Мучки-то у нас почти ничего не осталось. Чем мы деточек-то прокормим?

Старичок мой полез на печку, добыл свой кошель – развязал. Глядь!.. а у него почитай все лепешечки-то целы, да и те, что мы напекли из грибков, почитай, не съедены лежат.

– Как это ты, – говорю, – божий человек, чем питался?

– А я, – говорит, – половиночками. Ты съешь целую лепешку, а я, – говорит, – половиночку – вот оно и накопилось.

Отобрал он лепешки с грибами.

– Вот это, – говорит, – мы будем есть, а это будем деточек кормить, а там – что бог даст.

Только не привел бог долго держать вас на лепешечках.

Настало воскресенье. День был такой ладный. Тепло; солнышко светит. На полях травка зазеленела. Собрались мы все на кругу; ни живы, ни мертвы... Спасенья не чаем.

А с круга, знаешь, дорога – вся видна.

И видим мы, что как будто словно обоз идет.

Диву дались мы.

Что ж думаешь? – хлебушка из губернии прислали!

Наперво мы сгоряча не поверили, а как въехали возы, да разглядел народ, так и – и батюшки! Такая оказия случилась! Бросились это на возы, словно звери голодные, кули все сронили, расшили, – да муку-то горстями за пазуху, в подол, в рот.

Кричат им: «Погодите, зря, мол, нельзя!» Так куда-а! Галдят, рычат, дерутся, друг у дружки рвут. Просто собаки голодные!

Одначе с этой муки-то, с непривычки-то – сами себе смерть причинили.

Померло тогда нас без малого два десятка, – всего-то во все голодное время – померло сотни две. Мало кто жив остался.

Ну, мы тут отдохнули!.. А там и еще мучки нагнали.

А урожай в тот год был такой, что просто никто не запомнит!...»

Любариха замолкла.

– А куда же, мама, старичок-то девался? – спросила Машутка.

– А старичок-то ушел. После Святой вскоре и ушел. Посидели молча немного.

Любариха поглядела в оконце, который, мол, час, не светает ли?

А Васена спал во всю ивановскую, прикорнув на коленки у сестры.

– Отнеси его, Машутка, да уложи, – сказала Любариха, –

да и сама ложись: время не раннее. Видишь, как мы с тобой, доченька, заболтались!

VI

Полегла Машутка, но вместо сна пришла бессонница.

Не в первый раз приводилось ей поворочаться всю ночь напролет и глаз не сомкнуть. Грезы и страхи ночные овладеют детской головкой, охватят сердце и мучат всю ночь, вплоть до вторых петухов.

Сперва пойдут думы: как все на свете делается? Отчего бог голод посылает? Отчего земля не родит? Но все эти вопросы почти тотчас же разворачиваются в грезы и образы, которые тянутся бесконечною вереницею.

Силится, старается Машутка заснуть и не может. Все сильнее и сильнее томят ее думы и грезы.

Солнышко высоко взошло, когда поднялась Машутка. Поднялась и не может глаз раскрыть. Отяжелели веки, словно слиплись, а раскроет их через силу, то словно тысячи ножей разрежут глаза.

И целый день не могла она ими на свет божий взглянуть, все на печи сидела, в темном углу. Только к вечеру легче сделалось. Любариха все время ей студеной водой со льдом примачивала, да льняное семя сварила, процедила сквозь тряпочку и отваром густым и слизистым промывала.

– Ничего, радостная моя, – приговаривала она. – Потерпи! это пройдет. У меня, у махонькой, тоже этак глаза болели. Господь помиловал. Прошло!

И неправду говорит Любариха. Совсем не прошло. И теперь глаза у ней по временам болят и ноют. Да, впрочем, Машутка знает это и сама, но не хочет сказать только она маме, голубушке своей.

«Пущай! – думает, – родимая моя меня тешит и сама утешается. Все сердцу легче»...

В деревушке у них мало у кого были совсем здоровые глаза, в особенности у детей.

Летом еще ничего. Так или этак можно справляться, а зимой так совсем плохо приходится. В ясный день, когда снег блестит на солнышке, а в избе дымно от печки, из которой ветер дым выбивает, тогда просто беги со свету божьего. Деваться некуда.

Впрочем, припадки боли не часто являлись. Пройдет боль и Машутка ничего – весела и здорова.

В весеннее время, когда в лесах зацветают белокрылка и волчье лыко, пойдут Машутка с Васеной в дальний лес. Воздух легкий да пахучий, словно ясному дню радуется. С пригорков бегут, пенятся ручьи, точно всем твердят:

Весна пришла,
Весна красна.
Цветочкам свет,
Траве привет.

– Васена, – говорит Машутка, – слышишь, что ручьи поют?

И Васена слушает, слушает и не может ничего слышать. А у Машутки глазки горят и светятся, тихо поднимает она пальчик и начнет подпевать:

Весна пришла,
Весна красна.
Цветочкам свет,
Траве привет.

Слушает, слушает Васена, нахмурится и действительно начинает слышать и подпевать вслед за Машуткой:

Весна пришла,
Весна красна.

А тут птичка махонькая, крапивничек, прилетит и так радостно зачиликает на кустике с голыми ветками. Смотрит на Машутку и Васену, головкой вертит. Точно хочет им сказать:
– И я слышу! И я слышу весеннюю песенку!

Пойдут детки дальше, и кажется Машутке, что вся весна у ней в сердце, там и ручьи бегут, и цветки цветут, и мурава зеленая, и солнце тихой, тихой радостью светит без конца, без заката.

VII

И не только весна, но весь божий мир вдруг замкнулся в сердце Машутки, а снаружи настали для нее вечные, непроглядные потемки.

Случилось это вот как.

Один раз Любариха с обоими детками в ясный, морозный, зимний день поехала на дровнях в лес за хворостом.

Кудлашка с лаем бежит впереди, Бурко бодро топочет и головой мотает; деткам хорошо, весело; даром что мороз пощипывает им носы и щеки.

– Смотри, Васена! – говорит Машутка, – видишь, как на деревьях кружевца развешаны, а на них все огоньки, огоньки прыгают разносветные! Видишь, видишь, как светики блестят.

И у Машутки сердце переполнилось восторгом. Она любовалась и не могла налюбоваться на светики разносветные.

Больно глазам Машутки смотреть на них, а все не может расстаться с ними: такая «божья краса неописанная!»

Вернулись домой.

К вечеру глаза девочки разболелись не на шутку. Целую ночь она не могла заснуть. Как закроет глаза, тотчас же в них начинают прыгать светики разносветные, прыгают, кружатся. Все их больше и больше прибывает, и с резкой, жгучей болью они начинают вертеться, как будто в самой голове.

Целую ночь Любариха не спала, возилась, ухаживала за Машуткой. К утру сон сломил, наконец, бедную девочку.

Любариха с Васеной копошились чуть слышно, говорили шепотом, чтоб не разбудить больную Машуточку.

Солнце светило так же ярко, как вчера, и позднее утро настало, когда проснулась Машута.

– Мамонька! – спрашивает она с полатей. – Не рассвело еще?

– Как не рассвело, доченька милая, день-деньской на дворе. Солнышко светит.

– Мамонька, помоги мне, голубушка, слезть с полаток.

Помогла Любариха.

Силится взглянуть на свет Машутка. С трудом разжимает глаза, режет их как ножами, а свету все нет.

– Мамонька, подведи ты меня к окошечку.

Подвела, поставила Любариха на солнышке. Туманный, красноватый, теплый свет чуть-чуть осветил глаза.

– Мамонька, – шепчет Машутка, – ничего я не вижу.

А у самой слезки бегут из глаз в три ручья.

А Любариха стоит над ней ни жива, ни мертва. Ноги трясутся. Мороз по спине ходит. Сердце через силу стучит.

– Мамонька! – шепчет Машутка, – лишил меня господь свету белого.

И тихо перекрестилась она большим крестом.

Тяжелое горе налегло на плечи Любарихи. Никак его не осилить.

Чего, чего только она ни пробовала, чтобы помочь дорогой Машутке, и ничего не помогло.

Свозила ее, слепенькую, в Соловки, к преподобным. Служила молебны... Молилась денно и ночью. Не было помощи!

Свозила ее в губернию. Шлялась по разным больницам и докторам. Все доктора наотрез отказались помочь.

Первое время Машутка сильно тосковала; сколько горьких слез выплакала, а затем помирилась с своей долей беспомощной.

– Во всем ведь власть господня!

А Васена ни на шаг не отходит от сестры. Водит ее повсюду, обо всем, что видит, говорит, рассказывает. Одним словом, превратился он совсем в Машуткины глаза, и весел, и доволен. Правду сказать: Машутка для него была не только надежным товарищем, но безграничным авторитетом и нескончаемым источником всяких сказок и рассказов.

У слепенькой Машутки этот источник стал еще глубже и плодотворнее. Целый мир закрылся перед ней, и все силы ее перешли на свой собственный чудный мир, который был спрятан от людей в ее сердце.

Никогда еще образы и представления не вставали перед ней с такой силой, с таким блеском, никогда она не любила их так сильно, как теперь.

Сказка за сказкой сами собой складываются в ее пылкой головке и текут они, как светлые волны, пропадая бесплодно

и бесследно впотьмах темной, никем не знаемой жизни!..

Пошел Машутке тринадцатый годок.

Свыклась она с своей долей. Снова кроткая улыбка выступила на ее губках.

– Что ж, – думает она, – можно и так жить. Не всем быть зрячими. Кому-нибудь надо же быть слепенькому.

Она даже порой говорила:

– Ведь это уже было давно. Когда я еще зрячей была.

И стала Машутка весела и довольна по-прежнему.

Но горе, как кошка, крадется из-за угла, выглядывает, высматривает и вдруг, неожиданно-негаданно, цап-царап, прямо за сердце! Очень уж оно лакомо до сердца человеческого – горе ехидное!

Любариха ясно сознавала, что с тех пор, как ослепла Машутка, на ее плечи весь дом налег. Она в поле, она и в доме. Но все бы ничего, только одна дума, страшная дума являлась к ней по временам.

– Что будет с деточками, если я помру? Куда они денутся, мои родненькие? Отберет у них дом Иван Михеич (ее двоюродный брат), и начнет над ними властвовать Марья Якимовна (жена его – баба свирепая и нелюдимая).

И при этой мысли сердце Любарихи сожмется, голова закружится, и она старается скорее не думать эту тяжелую, невыносимую думу, а она, неотвязная, днем и ночью сама в душу лезет.

VIII

Пришла осень.

Тучи, хмурые тучи налегли на землю. Плывут, клубятся, несутся. Холодный резкий ветер гонит их и летает по голым полям и лесам, рвет с них последние пожелтелые листья. Земля замерзла. Все лужицы застыли, и тонкий слой льда покрыл края речки, быстрой, каменистой, богатой перекатами.

Стоит Машутка за воротами и ничего этого не видит. Она чувствует только холодный, порывистый ветер, который чуть с ног не валит.

– Пойдем, Машутка, в избу, – говорит Васена. – Видишь, как сиверко!..

Машутка ничего не ответила. Она стояла, накрывшись тулупчиком, и поворачивала лицо к ветру, стараясь узнать, с которой стороны он дует. Если с полуночной, то быть ясной погоде, если же с полуденной, то завтра будет дождь. Но, очевидно, она это делала от нечего делать.

Она ждала свою дорогую мамоньку, которая отправилась на речку сполоснуть белье.

Час за часом бежит, а она не ворочается назад.

Несколько раз уже Машутка выходит за ворота. Уже печка давно истопилась, уже хлебы давно осели, а ее все нет как нет.

– Машутка, – говорит Васена, – что мы все за ворота, да за ворота... Холодно!..

И не хочется сказать Машутке, отчего у ней сердце сжалось и ноет, отчего она вся, всей бы душой полетела бы туда, на речку.

Постоит, посмотрит Машутка, долго, пристально посмотрит в ту сторону, где за поворотом исчезла мать, как будто и видит что-нибудь своими слепенькими глазами; а Кудлашка жалобно визжит и лает на ветер, посматривая на Машутку. Словно чует сердце собачье, что у ней делается на душе.

– Пойдем, Машутка, в избу, – опять зовет Васена, прыгая на холодном ветру и защищая покрасневший нос и слезящиеся глаза рукавом полушубка.

И опять, понутив голову и опираясь на своего вожатого, ворочается Машутка в теплую избу.

Наконец, она не выдержала.

Укутала, чем могла, Васену, и пошли, побежали на речку, а Кудлашка, как бешеная, мчится впереди них. Визжит и лает.

Прошли улку, пришли к спуску, и Васена совсем вступил в роль вожатого. Повернулся он спиной к Машутке, а она обеими руками оперлась ему о плечи, и он тихонько начал спускаться к речке. Спуск был крутой и грязный. Несколько раз Васена скользил и готов был оборваться. Наконец, на повороте тропочки выглянули мостки, и видит Васена, что кучка белья белеет на мостках и только одна доска осталась

от них. Другую совсем в воду сшибло.

Видит он, что что-то краснеет подле камня, ровно ма-монькин платок, а из воды торчит ровно палка или рука человека.

Кудлашка присела, вся нахохлилась, насторожила уши, вглядывается, и визжит, и боится, и словно не может идти.

Ближе, ближе подходят детки.

Наконец, разглядел Васена. Весь задрожал и, не помня себя, с отчаянным криком бросился к мосткам.

Словно ножом резанул этот крик по сердцу Машутки.

Не зная как, очутилась она на мостках. Ползком, хватаясь дрожащими руками за скользкие бревна и доски, проваливаясь в холодную воду, добралась она до маменькиной головы.

Голова вся лежала в воде. Всю ее ощупала Машутка. Только конец красного платка плавал и сносило его бежавшей водой. Одна рука высоко торчала из воды, точно манила к себе деток. Да одна нога в лапте чуть-чуть кончиком лежала на мостках.

Не чувствуя холода, трясась всем телом, Машутка снова через силу поползла по мосткам назад, хотела бежать в деревню, но тут силы изменили ей. Словно хмурые тучи спустились, заволокли голову, и она без чувств упала на грязную тропинку.

Васена с диким, пронзительным криком бросился бежать в деревню, а впереди него, визжа и отчаянно лая, летела Кудлашка.

Долго бегал и плакал Васена.

Наконец услышали добрые люди его осипший голос и плач. Вышли, расспросили, побежали к мосткам, подняли Машутку и вытащили из воды мертвое тело бедной Любарихи.

Прошло три дня, и в них Машутка постарела на три года; да и Васена похудел и стал хмурый.

Угрюмо, с нестерпимой болью в сердце, похоронили они родимую, и боль эта у Машуты сложилась, разлилась в жалобе, которую голосила, причитала она над покойницей.

На кого покинула
Горьких сиротиночек,
Мамонька родимая,
Ясен, светел свет в очах
Грела, словно солнышко.
Пташек своих малых,
Нежила, лелеяла...
Да пропала, скрылася,
Сгинула, покинула
На житье горячее,
Маюшку, суровую,
Доле злой невзгодыцу.

Вечером, когда вернулись с похорон, одна старушка переходящая, что по дворам в наймах жила, суетилась, тараторила, прибирала все в доме у сиротинок.

– Вам здесь не осилить... – говорила она, – где осилить, болезным!.. Ты – слепенькая, он – махонький; весь дом в раззор разорите!.. В Питер бы вам махнуть. Вот куда! Там авось в како ни на есть заведение возьмут.

Машутка с Васеной слушали ее, сидя на маминой постели, слушали бесконечную болтовню, покрывшись зипунчиком.

У обоих сердце ныло. Оба, широко раскрыв заплаканные глаза, испуганно смотрели в темную, тяжелую даль будущего...

Так маленькие птички смотрят из родимого гнезда в холодную даль, когда ветер свистит и дождь льет без конца, а матери родимой нет, как нет.

IX

Недолго сиротки прожили одинокими. Через два дня из ближней деревни нагрянули гости-наследники, дядя, да тетка с детками.

С первых же разов пошел шум и гам, дым коромыслом. Вся изба ходуном, хоть вон беги.

Деток наехало семеро. Старшему пареньку десятый годок, младшему – другой пошел, и стало тесно всем в горницах.

Ночью на печке лег сам, на кровати тетка с малышом. На полатах все детки приезжие. А Машутку с Васеной уложили на лавках. Лавки узенькие. Васена заснул, во сне разметнулся и на пол скатился. Испугался и заревел, но тетка быстро, словно кошка, соскочила с постели и костлявой, мозолистой рукой надавала ему таких шлепанцев, что бедный Васена, совсем ошеломленный, затих на полу.

Когда тетка улеглась, к нему спустилась Машутка, подостлала под него шубенку, под голову подушку, укутала, пригрела, и Васена, уткнув голову к ней в рукав, тихо, тихо начал рыдать и всхлипывать, а Машутка, зажимая ему рот, целовала его, приговаривая:

– Нишкни, нишкни, родный! Услышат, опять хлестать начнут.

И Васена, наконец, замолк и заснул как убитый, тихо вздрагивая и всхлипывая во сне.

А Машутка не спала вплоть до рассвета.

Прошло несколько дней, и упорная мысль окрепла в головке слепой девочки: «Бежать надо!»

С вечера Машутка припасла мешочки и бураки. Васена не спрашивал. Он догадался, зачем, куда собирается сестра.

Полегли, по обыкновению, на полу, совсем одетые.

Середь ночи, после первых петухов, Машутка растолкала Васену, который крепко задремал.

Тихонько, как тени, не скрипнув дверью, вышли в сенцы, перекрестились.

На дворе завизжала, обрадовавшись, и бросилась к ним Кудлашка.

Молча вышли детки божьи.

Ночь была ясная, да холодная. Ярко горели звезды.

Сперва пошли на кладбище.

Бросились было на них с лаем собаки, но вскоре узнали знакомых, завизжали и побежали вслед за ними, виляя хвостами.

Перелезли через пряслицы и прямехонько пришли на могилку Любарихи.

Помолились – поклонились.

Машутка долго не поднимала головы с могилки. Слезы текли, текли вместе с словами прямо из сердца.

Мамонька, голубынька,
Перекрести, родимая,

Деточек любимых
На страду земную.
Нет им уголка в избе,
Выгнали их вороги
Из родима гнездышка,
Где с тобою жили мы,
Где ты нас лелеяла...

Встали, пошли. Кудлашка побежала впереди.

Прежде чем повернуть за пригорочек, Машутка обернулась... постояла. Жаль ей было расставаться с родиной.

Перекрестилась, махнула рукой и пошла...

Кое-как, с лишениями, питаюсь подаяниями, добрались, наконец, детки до Питера, и поглотил их город великий.

Осталась ли по вас памятка, страдальцы земли родной, или, подобно многим, многим, сгинули вы бесследно, – блесточки божьи, затоптанные в грязи, в темную ночь общественной жизни!